Светлана Алексиевич

ЦИНКОВЫЕ МАЛЬЧИКИ

инсценировка Г.Касьянова

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

«...ИБО МНОГИЕ ПРИДУТ ПОД ИМЕНЕМ МОИМ»

Мирозданье.

Автор берет телефонную трубку.

ОН                  Послушай, читал твой пасквиль... Если еще хоть строчку напечатае­шь...

АВТОР           Кто ты?

ОН                  Один из тех, о ком ты пишешь. Ненавижу пацифистов! Ты поднималась с полной выкладкой в горы, шла на бэтээре, когда семьдесят граду­сов выше нуля? Ты слышишь по ночам резкую вонь колючек? Не слыши­шь... Значит, не трогай! Это наше!!! Зачем тебе оно?

АВТОР           Почему не назовешь себя?

ОН                  Не трогай! Лучшего друга, он мне братом был, в целлофановом мешке с рейда принес: сдернутая кожа... Отдельно голова, отдельно руки, ноги, член... Разделанная туша вместо красивого сильного парня... Он на скрипке играл, стихи сочинял... Вот бы он писал, а не ты... Мать его через два дня после похорон в психушку увезли. Она убе­гала ночью на кладбище и пыталась лечь вместе с ним. Не трогайте это! Мы были солдаты. Нас туда послали. Мы выполняли приказ. Воен­ную присягу. Я знамя целовал...

АВТОР           «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим». Новый завет. Евангелие от Матфея.

ОН                  Умники! Через десять лет все стали умниками. Все хотят чистеньки­ми остаться. Да пошли вы все к ... матери! Ты даже не знаешь, как пуля летит. Ты не стреляла в человека... Я ничего не боюсь... Пле­вать мне на ваши Новые заветы, на вашу правду. Я свою правду в целлофановом мешке нес... Отдельно голова... Отдельно руки, ноги, член... Да пошли вы все к...!!

Гудок в трубке, похожий на далекий взрыв.

АВТОР           Все-таки я жалею, что мы с ним не договорили. Может быть, это был мой главный герой, раненый в самое сердце?.. «Не трогай! Это наше!!» – кричал он. А это тогда чье?!

Плакаты, призывы, лозунги: «Страна любит своих героев!», «Афганистан, какая прелесть!», «Афганистан нас сде­лал братьями!», «Кабул–город мира», «Светлое будущее–коммунизм».

РЯДОВОЙ      В газетах писали: полк совершил учебный марш и провел учеб­ную стрельбу... Мы читали, и было обидно. Наш взвод сопровождал машины. Машину можно отверткой пробить, для пули она – мишень. Каждый день в нас стреляли, убивали. Убили рядом парня... Перво­го на моих глазах... Мы еще мало знали друг друга... Из миноме­та стреляли... В нем сидело много осколков... Умирал долго... Нас узнавал... Но звал незнакомых нам людей...

Там у нас никогда не было, чтобы у каждого свой котелок и своя ложка. Один котелок–все навалимся, человек восемь. Но Афган – не увлекательная история, не детектив. Лежит убитый крестьянин – тщедушное тело и большие руки... Во время обстрела просишь, ко­го просишь, не знаю, бога просишь: пусть земля расступится и сп­рячет меня... Пусть камень расступится... Жалобно поскуливают во сне минно-розыскные собаки. Их тоже убивали, ранили. Лежали рядом: убитые овчарки и люди, забинтованные собаки и люди. Люди без ног, собаки без лап. Не разобрать, где на снегу собачья кро­вь, где человеческая.

Сбросят в одну кучу трофейное оружие – китайское, американ­ское, пакистанское, советское, английское – и это все, чтобы те­бя убить. Страх человечнее смелости. Когда боишься, жалеешь хотя бы самого себя. Загоняешь страх в подсознание. Не хочется думать, что будешь лежать невзрачный и маленький за тысячу ки­лометров от дома. Уже в космос люди летают, а как убивали друг друга тысячи лет назад, так и убивают. Пулей, ножом, камнем... В кишлаках наших солдат вилами деревянными закалывали...

Вернулся в восемьдесят первом году. Все было на «ура». Выполнили интернациональный долг. Приехал в Москву утром, рано утром. Приехал на поезде. Дождаться вечера, чтобы сутки терять, не мог. Все, что во мне было, давно было дома. Я приехал на попут­ках.

Дома – запах тополей, звенят трамваи, девочка ест мороженое. И тополя, тополя пахнут! А там природа – это зеленая зона, отту­да стреляют. Так хотелось увидеть березку, и синичку нашу. Как угол впереди, все внутри сжимается – а что там за углом? Еще год боялся выйти на улицу: бронежилета нет, каски нет, автомата нет, как голый. А ночью сны... Кто-то в лоб целится... Такой ка­либр, что полголовы снесет... По ночам кричал... Бросался на стену... Затрещит телефон – у меня испарина на лбу: стреляют...

В газетах по-прежнему писали: вертолетчик икс совершил учебный полет... Награжден орденом Красной Звезды... Тут я окончательно излечился. Афган излечил меня от иллюзий веры в то, что все у нас правильно, что в газетах пишут правду, что по телевизору говорят правду. «Что делать? Что делать?» – спрашивал я себя. Хотел на что-то решиться... Куда-то пойти... Выступить, сказать... Меня удержала мать: «Мы так живем всю жизнь...»

СЦЕНА      «...Я всегда готов по приказу Советского прави­тельства выступить на защиту моей Родины – Союза Советских Социалистических Республик, и, как воин Вооруженных Сил СССР, я клянусь защищать ее муже­ственно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами...»

МЕДСЕСТРА Каждый день я себе там говорила: «Дура я, дура. Зачем это сделала?» Особенно ночью появлялись такие мысли, когда не ра­ботала, а днем были другие – как всем помочь! Они лежали мале­нькие... Раны страшные... Меня потрясало, зачем такие пули? Кто их придумал? Разве человек их придумал? Входное отверс­тие – маленькое, а внутри кишки, печень, селезенка – все посечено, разорвано. Мало убить, ранить, надо еще заставить так мучить­ся... Они кричали всегда: «Мама!» Когда болит... Когда страш­но... Других имен я не слышала...

Я хотела уехать из Ленинграда, на год-два, но уехать. Умер ребенок, потом умер муж. Ничего не держало меня в этом городе, наоборот, все напоминало, гнало. Там мы с ним встреча­лись... Здесь первый раз поцеловались... В этом роддоме я ро­дила...

Вызвал главврач:

–Поедете в Афганистан?

–Поеду...

Мне надо было видеть, что другим хуже, чем мне. И я это увиде­ла.

Война, нам говорили, справедливая, мы помогаем афганскому наро­ду покончить с феодализмом и построить светлое социалисти­ческое общество. О том, что наши ребята погибают, как-то умалчивалось, мы поняли так, что там много инфекционных заболе­ваний – малярия, брюшной тиф, гепатит. Восьмидесятый год... Начало... Прилетели в Кабул... Под госпиталь отдали английские конюшни. Ничего нет... Один шприц на всех... Офи­церы выпьют спирт, обрабатываем раны бензином. Раны плохо заживают – мало кислорода. Помогало солнце. Яркое солнце убивает микробы. Первых раненых увидела в нижнем белье и сапогах. Без пижам. Пижамы не скоро появились. Тапочки тоже. И одеяла...

Весь март тут же, возле палаток, сваливали отрезанные руки, ноги, остатки наших солдат, офицеров. Останки тоже. Трупы лежали полуголые, с выколотыми глазами, с вырезанными зве­здами на спинах и животах... Раньше в кино о гражданской войне такое видела. Цинковых гробов еще не было. Еще не заготовили.

Тут начали понемногу задумываться: кто же мы? Наши сомне­ния не нравились. Тапочек, пижам не было, а уже развешивали привезенные лозунги, призывы, плакаты. На фоне лозунгов – худые, печальные лица наших ребят. Они остались в моем соз­нании так навсегда... Два раза в неделю – политическая уче­ба. Нас учили все время: священный долг, граница должна бы­ть на замке.

Самая неприятная вещь в армии – доносительство. Начальник приказывает доносить. По каждой мелочи. На каждого раненого, больного. Это называется: знать настроение... Армия должна быть здоровой... Положено было «стучать» на всех. Жалеть нельзя было. Но мы жалели, на жалости там всё и держалось...

Спасать, помогать, любить. За этим мы ехали. Проходит какое-то время, и я ловлю себя на мысли, что ненавижу. Не­навижу этот мягкий и легкий песок, обжигающий, как огонь. Ненавижу эти горы. Ненавижу эти низкорослые кишлаки, из которых в любой момент могут выстрелить. Ненавижу случайного афганца, несущего корзину с дынями, или стоящего возле сво­его дома. Еще неизвестно, где они были этой ночью? Убили знакомого офицера, недавно лечившегося в госпитале... Вы­резали две палатки солдат... В другом месте была отрав­лена вода... Кто-то поднял красивую зажигалку, она разор­валась в руках... Это же все наши мальчики гибли... Свои мальчики... Надо это понять... Вы не видели обожженного человека... Лица нет... Глаз нет... Тела нет... Что-то смо­рщенное, покрытое желтой коркой – лимфатической жидкостью... Не крик, а рык из-под этой корки.

Так жили ненавистью, выживали ненавистью. А чувство вины? Оно пришло не там, а здесь, когда я уже со стороны пос­мотрела на это. За одного нашего убитого мы убивали це­лый кишлак. Там мне это казалось справедливостью, здесь я ужаснулась, вспомнив маленькую девочку, лежавшую в пыли без рук, без ног... Как сломанная кукла... А мы еще удивля­лись, что они нас не любят. Они лежали в нашем госпитале... Даешь женщине лекарство, а она не поднимает на тебя глаз. Она тебе никогда не улыбнется. Это даже обижало. Там оби­жало, а здесь – нет. Здесь ты уже нормальный человек, к тебе возвратились все чувства.

Профессия у меня хорошая – спасать, она меня и спас­ла. Оправдала. Мы там были нужны. Не всех спасли, кого мог­ли спасти, – вот что самое страшное. Могла спасти – не было нужного лекарства. Могла спасти – поздно привезли (кто был в медротах? – плохо обученные солдаты, научившиеся толь­ко перевязывать). Могла спасти – не добудилась пьяного хи­рурга. Могла спасти...

Мы не могли даже правду написать в похоронках. Они подрывались на минах... От человека часто оставалось пол­ведра мяса... А мы писали: погиб в автомобильной катастро­фе, упал в пропасть, пищевое отравление. Когда их стали уже тысячи, тогда нам разрешили сообщать правду родным. К тру­пам я привыкла. Но то, что это человек, наш, родной, маленький, с этим невозможно было смириться.

Привозят мальчика. Как раз я дежурила. Он открыл гла­за, посмотрел на меня:

–Ну, все... – и умер.

Трое суток его искали в горах. Нашли. Принесли. Он бредил: «Врача! Врача!» Увидел белый халат – спасен. Рана несовместимая с жизнью. Я только там узнала, что это такое. Это ранение в черепную коробку. У каждого из нас в памяти свое кладбище...

Даже в смерти они не были равны. Почему-то тех, кто погиб в бою, жалели больше. Умерших в госпитале – меньше. А они так кричали, умирая... Помню, как умирал в реанимации майор. Военный советник. К нему пришла жена. Он умер на ее глазах… И она начала страшно кричать... По-звериному... Хотелось закрыть все двери, чтобы никто не слышал... Потому что рядом умирали солдаты... Мальчики... И их некому было оплакивать... Умирали они одни. Она была лишняя среди нас.

Он уходит... Умирает...

–Мама! Мама!

–Я здесь, сынок, – говоришь. Обманываешь.

Мы стали их мамами, сестрами. И всегда хотелось оправдать это доверие.

Не уверена, признается ли кто-нибудь здесь, а там не от одного слышала: убивать может понравиться, убивать – удовольствие. Знакомый прапорщик уезжал в Союз и не скры­вал: «Как я жить теперь буду, мне же убивать очень хоче­тся?» Говорили об этом спокойно. Мальчики – с восторгом! – как сожгли кишлак, растоптали все. Они же не сумасшедшие были все? Однажды в гости к нам пришел офицер, он приехал из-под Кандагара. Вечером надо прощаться, а он закрылся в пустой комнате и застрелился. Говорили, что пьяный был, не знаю. Тяжело. Тяжело прожить каждый день. Мальчик на посту застрелился. Три часа ни солнце. Мальчик домашний, не выдержал. Было много сумасшедших. Вначале они лежали в общих палатах, потом поместили их отдельно. Они стали убе­гать, их пугали решетки. Вместе со всеми им было легче. Одного очень запомнила:

–Садись... Я спою тебе дембельскую... – Поет-поет и заснет.

Проснется:

–Домой... Домой... К маме... Мне здесь жарко...

Все время просился домой.

Все курили. Анашу, марихуану... Кто что достанет... Станови­шься сильным, свободным от всего. В первую очередь, от сво­его тела. Как будто ты на цыпочках идешь. Слышишь легкость в каждой клеточке. Чувствуешь каждый мускул. Хочется ле­тать. Как будто летишь! Радость неудержимая. Все нравится. Смеешься над всякой ерундой. Слышишь лучше, видишь лучше. Различаешь больше запахов, больше звуков... Страна любит своих героев!.. В этом состоянии легко убивать. Ты обезболился. Жалости нет. Легко умирать. Страх уходит. Такое чувс­тво, что на тебе бронежилет, что ты бронированный... Обкуривались и уходили в рейд... Я два раза попробовала. В двух случаях, когда своих, человеческих, сил не хватало. Работала в инфекционном отделении. Должно быть тридцать коек, а лежит триста человек. Брюшной тиф, малярия... Им давали кровати, одеяла, а они лежали на голых шинелях, на голой, земле. В трусах. Наголо остриженные, а с них сыпятся вши… Платяные... Головные... Такого количества вшей я никогда больше не увижу... Рядом в кишлаках афганцы ходили в на­ших больничных пижамах, с нашими одеялами на голове. Да, наши мальчики все продавали. Я их не осуждаю, чаще их не осуждаю. Они умирали за три рубля в месяц. Наш солдат получал восемь чеков в месяц. Три рубля... Их обирали офицеры, прапорщики, старослужащие... Их кормили мясом с червями, ржавой рыбой... У нас у всех была цинга. Они продавали одеяла и покупали анашу. Что-нибудь сладкое. Безделушки… Там такие яркие лавки, в этих лавках так много привлекательного. У нас ничего этого нет. И они продавали оружие, патроны... Чтобы самих себя убивать...

После всего там я другими глазами увидела свою страну.

Страшно было сюда возвращаться. Как-то странно. Будто с тебя сорвали всю кожу. Я все время плакала. Никого не могла видеть, кроме тех, кто там был. С ними бы проводила день и ночь. Разговоры других казались суетой, вздором каким-то. Полгода так длилось. А теперь сама в очереди за мясом ругаюсь. Стараешься жить нормальной жизнью, как жила «до». Но это не получается. Я стала равнодушной к себе, к своей жизни. Жизнь кончена, ничего дальше не будет. А у мужчин это приживание еще мучительнее. Женщи­на может зацепиться за ребенка, а им не за что зацепить­ся. Они возвращаются, влюбляются, у них рождаются дети, а все равно – Афганистан для них выше всего.

Мне самой хочется разобраться, почему так? Что же это было? Почему так это меня трогает? Там это загоня­лось вовнутрь, тут вылезло.

Их надо жалеть, жалеть всех, кто там был. Я – взрослый человек, мне было тридцать лет, и то, какая ломка. А они – маленькие, они ничего не понимают. Их взяли из дому, дали в руки оружие и научили убивать. Им говорили, им обещали – идете на святое дело, Родина вас не забудет. Теперь от них отводят глаза. Стараются забыть эту войну. Все! И те, кто нас туда послал. Даже мы сами при встречах все реже говорим о войне. Эту войну никто не любит. Хотя я до сих пор плачу, когда играют афганский гимн. Полюбила всю афганскую музыку. Я ее слышу. Это как наркотик. Недав­но в автобусе встретила солдата. Мы его лечили. Он без правой руки остался. Я его хорошо помнила, тоже ленин­градец.

–Может, тебе, Сережа, чем-нибудь помочь надо?

А он зло:

–Да пошли вы все!!

Я знаю, он меня найдет, попросит прощения. А у него кто попросит? У всех, кто там был? Кого сломало. Не говорю о ка­леках. Как надо не любить свой народ, чтобы посылать его на такое.

Я теперь не только любую войну, я мальчишеские драки ненавижу. И не говорите мне, что война эта кончилась. Лето дохнет с горячей пылью, блеснет кольцо стоячей воды, резкий запах сухих цветов...

Как удар в висок... И это будет преследовать нас всю жи­знь...

СЦЕНА                    Попал фарцовщик на войну. Первым делом выя­снил, сколько чеков стоит один пленный «дух»? Восемь чеков. Через два дня стоит пыль возле гарнизона: ведет он двести пленных. Друг про­сит: «Продай одного за семь чеков». «Что ты, дорогой. Сам за девять купил».

Лежит «дух» со словарем. Снайпер. Увидел три маленьких звездочки – старший лейтенант – пятьдесят тысяч афгани. Щелк! Одна большая звезда ­майор – двести тысяч афгани. Щелк! Две малень­кие звездочки – прапорщик. Щелк. Ночью главарь расплачивается: за старшего лейтенанта – дать афгани, за майора – дать афгани. За... Что? Прапорщик? Ты же нашего кормильца убил. Повесить!

...Звонит лейтенант домой в Ташкент. Трубку берет пятилетний сын:

–Сережка, где мама?

–Мама на работе.

–Не боишься дома один?

–Я ничего не боюсь, ночью сплю один. А мама боится, спит с дядей Колей.

Приехал офицер в Союз в командировку. Зашел в парикмахерскую. Девушка посадила его в кресло:

–Как обстановка в Афганистане?

–Нормализуется...

Через несколько минут снова:

–Как обстановка в Афганистане?

–Нормализуется...

Пройдет какое-то время:

–Как обстановка в Афганистане?

–Нормализуется...

Постригся, ушел. В парикмахерской недоумевают:

–Зачем мучила человека?

–Как спрошу об Афганистане, у него волосы ды­бом становятся – легче стричь.

–Дети, расскажите, кто ваши папы?

Все тянут руки вверх:

–Мой папа – врач...

–Мой папа – сантехник...

–Мой папа... – в цирке работает...

Маленький Вова молчит.

–Вова, ты не знаешь, кто твой папа?

–Раньше он был летчиком, а сейчас работает фашистом в Афганистане...

В Кабуле на пересыльном пункте встретились: Змей Горыныч, Кощей Бессмертный и Баба Яга. Все едут защищать революцию. Через два года увидели друг друга по дороге домой: у Змея Горыныча только одна голова уцелела, остальные снесли; Кощей Бессмертный чуть живым остал­ся, потому что Бессмертный, а Баба Яга – вся в «монтане», варенка на ней. Веселая, довольная:

–А я на третий год оформляюсь.

–Ты с ума сошла, Баба Яга!

–Это я в Союзе Баба Яга, а тут – Василиса Прекрасная.

СЛУЖАЩАЯ Как я сюда попала? Очень просто. Верила всему, что писали в газетах. Я себе говорила: «Раньше подвиги совер­шали, были способны на самопожертвование, а теперь наша молодежь никуда не годится. И я такая же. Там война, а я себе платья шью, прическу новую придумываю». Мама плакала: «Умирать буду – не прощу. Я не для того вас рожала, чтобы хоронить отдельно руки, ноги».

Из первых впечатлений? Пересылка в Кабуле – колючая проволока, солдаты с автоматами, собаки лают. Одни женщи­ны. Сотни женщин. Приходят офицеры, выбирают, кто посимпа­тичнее, помоложе. Откровенно. Меня подозвал майор:

–Давай отвезу в свой батальон, если тебя не смущает моя машина.

–Какая машина?

–Из-под груза «двести»... – Я уже знала, что груз «двести» – это убитые, это гробы.

–Гробы есть?

–Сейчас выгрузят.

Обыкновенный КАМАЗ с брезентом. Гробы бросали, как ящики с патронами. Я ужаснулась. Солдаты поняли: «Новенькая». Приехали в часть. Жара шестьдесят пять градусов. В туалете мух столько, что могут поднять тебя на крыльях. Душа – нет. Я – единственная женщина. Через две недели вызвал комбат:

–Ты будешь жить со мной...

Два месяца отбивалась. Один раз чуть гранату не бросила, в другой – за нож ухватилась. Наслушалась: «Выбираешь выше звездами... Чай с маслом захочешь – сама придешь...» Никог­да раньше не матерщинила, а тут:

–Да вали ты отсюда...

У меня мат-перемат, огрубела. Перевели в Кабул, дежурной в гостиницу. Первое время на всех зверем кида­лась. Смотрели, как на ненормальную.

–Чего ты боишься? Мы кусаться не собираемся.

А я по-другому не могла, привыкла защищаться.

 Позовет кто-нибудь.

–Зайди чаю попить.

–Ты меня зовешь на чашку чая или на палку чая?

Пока у меня не появился мой...

Любовь? Таких слов здесь не говорят. Знакомит с друзьями:

–Моя жена.

А я ему на ухо:

–Афганская?

Ехали на бэтээре. Я его собой прикрыла, но, к счастью пуля – в люк. А он сидел спиной. Вернулись, написал жене обо мне. Два месяца не получает из дому писем.

Люблю ходить пострелять. Полностью весь магазин выпускаю одной очередью. Мне становится легче... Одного духа сама убила. Выехали в горы подышать, полюбоваться. Шорох за камнем, меня током назад, и я – очередь. Первая. Подошла, посмотрела: сильный, красивый мужчина лежал...

–С тобой можно в разведку, – сказали ребята.

Я нос задрала. Им еще понравилось, что я не полезла к не­му в сумку за вещами, а взяла только пистолет. Потом они всю дорогу меня сторожили – вдруг замутит, тошнить нач­нет. Ничего...

Пришла, открыла холодильник и много съела, так много, что в другой раз мне бы этого на неделю хватило. Нервное расстройство. Принесли бутылку водки. Пила, не пьянела. Жуть брала: промажь я, и моя мама получила бы «груз двести».

Я хотела быть на войне, но не на этой, а на Великой Отечественной.

Откуда бралась ненависть? Очень просто. Убили товарища, а ты с ним рядом был, ел из одного котелка. И вот он лежит весь обгоревший, поджаренный. Сразу все понятно. Тут будешь стрелять до сумасшествия. Мы не привыкли ду­мать о больших вопросах: кто это затеял? Кто виноват? Пусть правительство политикой занимается, а тут люди видят кровь и звереют... Видят, как обгоревшая кожа сворачивает­ся в трубочку, точно лопнувший капроновый чулок... Жуть, когда животных убивают... Расстреливали караван, он вез оружие. Людей расстреляли отдельно, ишаков – отдельно. Они одинаково молчали и ждали смерти.

У меня здесь другое лицо, другой голос. Можете пред­ставить, какие мы здесь, какими становимся, если, девчонки, сидим и говорим:

–Ну и дурак? Поссорился с сержантом и ушел к духам. Стрельнул бы и все. Списали бы на боевые потери.

Откровенный разговор, в порядке вещей. Многие офицеры думали, что тут, как в Союзе: можно ударить солдата, оскор­бить...

Таких находили убитыми... В бою в спину выстрелят...

Пойди докажи.

На заставах, в горах ребята никого годами не видят. Вертолет три раза в неделю. Я приехала. Подошел капитан:

–Девушка, снимите фуражку. –А у меня были длинные волосы. –Я целый год не видел женщину. – Все солдаты высыпали из траншей, смотрели.

А в бою меня закрыл собой один солдат. Сколько я бу­ду жива, буду его помнить. Он меня не знал, он это сделал только потому, что я – женщина. Такое забудешь? И где ты в обычной жизни поверишь. Сможет ли тебя закрыть собою человек? Тут лучшее еще лучше, плохое – еще хуже. Обстрели­вают... И солдат бросает мне пошлость. Грязную. И его уби­ло, отрезало половину головы, половину туловища. На моих глазах... Меня затрясло, как в малярии.

Не встречала, чтобы девчонки у нас носили боевые награды, даже если они у них есть. Одна надела медаль «За боевые заслуги» – все смеялись «За половые заслуги»… Потому что все знают: медаль можно получить за ящик тушенки, за ночь с комбатом... Почему женщины здесь? Что, без них нельзя было обойтись? Господа офицеры с ума сойдут. Почему женщины сюда рвутся? Деньги... Купишь магнитофон, вещи. Вернешься домой – продашь. В Союзе столько не зарабо­таешь, как тут, в Афгане. За вещи... У нас же честный разговор... Наши женщины продаются дуканщикам прямо в дуканах, в подсобках, а они такие маленькие... Зайдешь в дукан, бочата кричат: «Ханум, джик-джик...» – и показывают на подсобку. Свои офицеры расплачиваются чеками, так и гово­рят: «Пойду к «чекистке»... Все это – тоже правда.

Да, поломанные люди отсюда выходят, особенно солдаты, мальчики восемнадцати-девятнадцати лет. Они увидели тут, как все продается... Многое... Как женщина продается на ночь за ящик, да где там ящик, за две банки тушенки. Потом этими глазами он будет на жену смотреть. Их тут сломали. Не надо удивляться, что они себя потом как-то не так ведут в Союзе. У них другой опыт. Они привыкли все решать автоматом, силой.

Дуканщик продавал арбузы, один арбуз – сто афгашек. Наши солдаты хотели дешевле. Он отказался. Ах, так! – один взял и расстрелял изавтомата все арбузы, целую гору арбузов.

Попробуй такому в троллейбусе наступить на ногу или не пропустить его в очереди...

Мечтала: вернусь домой, вынесу раскладушку в сад и засну под яблоней... Под яблоками... А теперь боюсь. От многих можно услышать, особенно сейчас, перед выводом наших войск: «Я боюсь возвращаться в Союз». Почему? Очень просто. Мы приедем, там все изменилось: другая мода за эти два года, дру­гая музыка, другие улицы... Другое отношение к этой войне… Мы будем, как белые вороны...

СЦЕНА           Врач-солдат                На что жалуетесь?

                        Леопольд-солдат         На мышей.

                        Врач-солдат                Мышите – не мышите... Все ясно. Вы очень добрый. Вам нужно ра­зозлиться. Вот таблетки – «озверин». Принимать по одной таблетке три раза в день после еды.

                        Леопольд-солдат         Ну и что?

Врач-солдат                Озвереете

.

На пятые сутки взял и застрелился солдат, пропустил всех вперед и при­ставил автомат к горлу. Нам пришлось тащить его труп, его рюкзак, его ору­жие, его бронежилет, его каску. Жалос­ти не было. Он знал, что у нас не бросают трупы – уносят. Пожалели мы его первый раз, когда уже уезжали домой, демобилизовались.

Принимать по одной таблетке три раза в день.

Ну и что?

Озвереете.

Музыка.

МАТЬ             Он у меня маленького роста был. Родился маленький, как девочка, два килограмма, рос маленький. Обниму:

–МОЕ ТЫ СОЛНЫШКО.

Ничего не боялся, только паука. Приходит с улицы... Мы ему но­вое пальто купили... Это ему исполнилось четыре года... Пове­сила я это пальто на вешалку и слышу из кухни: шлеп-шлеп, шлеп-шлеп... Выбегаю: полная прихожая лягушек, они из карманов его пальто выскакивают... Он их собирает:

–Мамочка, ты не бойся. Они добрые. – И назад в карман запихива­ет.

–моё ты солнышко.

Игрушки любил военные. Дарили ему танк, автомат, пистолет.

Нацепит на себя и марширует по дому:

–Я солдат... Я солдат...

–Мое ты солнышко... Поиграй во что-нибудь мирное.

–Я – солдат... Я – солдат.

Идти в первый класс. Не можем нигде купить костюм, какой ни купим – он в него прячется.

–МОЕ ТЫ СОЛНЫШКО.

...Забрали в армию. Я молила, чтобы его не били, а не убили. Дура, не думала, не знала, куда сына отдаю. Не надеялась. Я боялась, что над ним будут издеваться ребята посильнее, он такой маленький. Рассказывал, что и туалет зубной щеткой могут заставить чистить, и трусы чужие стирать. Я этого боялась. Попросил: «Пришлите все свои фото: мама, папа, сестренка. Я уезжаю...» Куда уезжает, не написал. Через два месяца пришло письмо из Афганистана. «Ты, мама, не плачь, броня надежная».

–МОЁ ТЫ СОЛНЫШКО... Наша броня надежная…

Уже домой ждала, ему месяц остался до конца службы. Рубашеч­ки купила, шарфик, туфли. И сейчас в шкафу стоят. Одела бы в могилку... Я сама бы его одела, так не разрешили гроб отк­рыть. Ни одной досточки не разрешили поднять... Нашли ли они ему форму по росту? В чем он там лежит? Первым пришел капитан из военкомата:

–Крепитесь мать...

–Где мой сын?

–Здесь, в Минске. Сейчас привезут.

Я осела на пол:

–МОЕ ТЫ СОЛНЫШКО!! – Поднялась и набросилась с ку­лаками на капитана. Я его била:

–Почему ты живой, а моего сына нет? Ты такой здоровый, такой сильный… А он маленький... Ты – мужчина, а он – мальчик... Поче­му ты живой!? Привезли гроб, я стучала в гроб:

–МОЕ ТЫ СОЛНЫШКО! МОЕ ТЫ СОЛНЫШКО...

А сейчас хожу к нему на могилку. Упаду на камник родной, обниму:

– МОЕ ТЫ СОЛНЫШКО!..

Бой.

КАПИТАН     Вспышка... Фонтан света... И все... Дальше ночь... Мрак... Открыл правый глаз и ползаю по стене: где я? В гос­питале... Дальше проверяю – руки на месте?.. На месте. Ни­же... Ноги? Трогаю себя руками... Что-то я быстро кончаюсь... Короткий какой-то... Как ребенок... Ясно: обеих ног нет...

Истерика...Паршивенькие мысли: смерть была бы лучшим убежищем, чем эта палата...Пусть бы в брызги, в ничто. Не видел бы себя... И другие не видели... Здесь вдруг – стоп! Ничего не помню...

Вспышка... Фонтан света... И все... Дальше ночь... Мрак...

Я забыл все, что было раньше... Тяжелейшая контузия. Всю свою жизнь забыл... Открыл паспорт и прочитал свою фамилию... Где родился... Тридцать лет... Женат... Двое детей... Мальчиков...

Теперь надо вспомнить лица... Лиц не помню...

Первая приехала мама... Говорит: «Я – твоя мама...» Она рассказала моё детство... Школу... Даже такие мелочи, какое у меня было пальто в восьмом классе. Какие оценки... Что больше всего любил гороховый суп... Я ее слушал я и как будто сам себя видел со стороны... Наблюдал...

Дежурная в столовой зовет:

–Садись в коляску... Повезу... К тебе жена приехала... Стоит возле палаты какая-то красивая женщина...

Глянул: стоит, пусть себе и стоит. А где жена? А это была моя жена. Она рассказала нашу любовь... Как познакомились... Как пер­вый раз ее поцеловал... Свадьбу... Как мальчики родились… Я слушал и не вспоминал, а запоминал... Когда хотел что-нибудь вспомнить, начинались сильные головные боли...

Сынишек вспомнил по фотографиям... Приехали другие. Мои и не мои... Беленький стал темненьким... Маленький стал большим... Глянул на себя в зеркало: похожи!

И войну забыл... Все два года... Только зиму сейчас не люблю... А мама говорила, что в детстве больше всего любил зиму... Снег... Про войну ребята рассказывают... Фильмы смотрю... «Почему, – думаю – я там был?» Мальчишек по­сылали... А я – офицер... Профессионал... Стыдно было бы по­том... Считалось бы, что струсил... Сам подал рапорт...

Врачи говорят, что память может вернуться... Тогда у меня будут две жизни... Та, что мне рассказали... И та, что была...

АВТОР           Все-таки я жалею, что мы с ним не договорили...

Шел пятый год войны, когда мне встретился тот сумасшедший мальчик на автобусной станции со столовой вилкой возле ящика с засохшим фикусом: «Большую щель вам всем выкопаю... Мы называли их братскими могилами...»

О чем говорили тогда вокруг меня? Об интернациональном долге, о геополитике, о наших державных интересах, о южных грани­цах. Пропаганда войны у нас запрещена законом, но стоило сло­во «война» подменить комбинацией «выполнение интернациона­льного долга», как народ тут же глухо смирился с похоронка­ми в панельных домах и сельских хатах с мирными геранями на окошках, с громоздкими цинковыми гробами, не желающими вме­щаться в «пенальных» размерах «хрущовок». Матери, еще недавно бьющиеся над железными слепыми ящиками, выступали на митин­гах, в школах, призывали других мальчиков «выполнить долг перед Родиной». Цензура внимательно следила, чтобы в военных очерках не упоминалось о гибели наших солдат, предлагалось верить, что «ограниченный контингент советских войск», помогает братскому народу строить дороги и развозить удобрения по кишлакам. И верили. Вернувшиеся солдаты приносили в школу гитары, чтобы спеть о том, о чем надо кричать...

Кто же мы? Почему с нами можно сотворить все, что кому-то для чего-то нужно и удобно? Как это делается? Я спрашивала у себя. Спрашивала у других. О войне, которая шла уже на год больше Великой Отечественной, все знали ровно столько, сколь­ко было не опасно знать, чтобы не увидеть себя такими, какие мы есть, не испугаться.

Ни к чему, даже к человеческой жизни, мы не относимся так бережно, как к мифам о самих себе: мы – самые, самые...

Все-таки я жалею, что мы с ним не договорили...

ДЕНЬ ВТОРОЙ

«А ДРУГОЙ УМИРАЕТ С ДУШОЙ ОГОРЧЕННОЙ...»

АВТОР           Сегодня он снова позвонил. Теперь я зову его «мой главный герой».

ГЛ.ГЕРОЙ      Меня нет, меня убили. Вот этими страничками... Поставили к стенке и расстреляли. В автобусе слышал, как две женщины обсуждали: «Какие они герои? Они там детей, женщин убивали. А им тут еще льготы». «За что? За то, что они нас на весь мир опозорили?»

Поставили к стенке и расстреляли меня... Я выбежал из автобуса, стоял на остановке и плакал...

Не трогайте это! Еще живая рана... Только начала зарастать, а вы в нее носком сапога... Женским каблучком... Ладно, мы – не герои, но теперь получается, что мы – убийцы. Может, через тридцать лет все можно будет поднять. Через трид­цать лет, не раньше. У меня вырастет сын, я сам ему скажу: «Сын, не все так было, как пишут в книгах. Была грязь...» А сейчас не трогайте... Не вытаскивайте эту грязь... Дайте пожить... Я жить хочу...

АВТОР           Мы все вернулись оттуда: кто посылал, кто воевал и кто мол­чал. Невиновных нет, одни наши маленькие дети невиновны, хотя они тоже смотрели телевизор и научились играть «в духов», «в афганских бандитов» и «в наших советских солдат». Но никому нет дела до истины. Она все время у нас кому-то слу­жит – интересам революции или усатому диктатору, первой или второй пятилетке. Мы ее приспособили, приручили. «Правда вы­ше России» – крикнул Достоевский. А мы до сих пор не слышим.

ГЛ.ГЕРОЙ      Я свою правду в целлофановом мешке нес... Отдельно руки, ноги, член... Да, я убивал, я в крови... Сложил, что было в целлофановом мешке в деревянный ящик, и попросился снова в рейд... Увидели в кишлаке свадьбу... Они танцевали, пели. Дарили подарки... Невеста и жених стояли, обсыпанные цве­тами... И я приказал: «Стрелять! Прямо по свадьбе – огонь!» Они танцевали, пели, а он лежал в целлофановом мешке... Я прицелился из автомата... Выстрелил и увидел, как разлетается человеческий череп. Подумал: «Первый». Целлофа­новый мешок в наскоро обструганном ящике летел домой в «черном тюльпане», а я мстил...

АВТОР           Я не сужу тебя... У меня нет этих прав...

ГЛ.ГЕРОЙ      Не хочу твоей жалости...Но зачем, во имя чего достаешь из меня то, что хочу забыть? Легче – пуля в рот или на гал­стуке повеситься...

Опять эта резкая вонь колючки...

От нее можно сойти с ума...

СОН                       Мир проявляется медленно, как фотография... Окно... Высокое окно... Что-то белое и что-то большое грузное в этом белом... С него падает пот... И капли пота меня больно ударяют по лицу... Поднимаю неподъемные веки и слышу облегченный вздох:

–Ну все, товарищ подполковник, вернулся из ко­мандировки.

Но если я подниму голову, хотя бы поверну ее, у меня отвалится мозг. Опять ныряет в толстые тряпки под прилавком мальчишка... Уставился на меня зеленым глазом попугай... Стоят трое аф­ганцев... То, что спиной ко мне, поворачивается… И я упираюсь взглядом в дуло пистолета... Вот! отверстие... Я его вижу... Теперь я не жду знакомого щелчка... Кричу: «Я должен тебя убить! Я тебя должен убить!»

РЯДОВОЙ      Наша рота прочесывала кишлак. Идем с парнем рядом. Он открывает ногой дверь в дувал и в него – из пулемета, расстреливают в упор... Девять пуль... Сознание заливает ненависть... Мы стреляли всех, вплоть до домашних животных, в животное, правда, стрелять страшнее. Жалко. Я не давал расстре­ливать осликов... В чем они виноваты?.. У них на шее висели амулеты, такие же, какие у детей... Когда поджигали пшенич­ное поле, мне стало не по себе, потому что я деревенский.

Там вспоминалось из прежней жизни только хорошее, больше детство. Как лежал в траве среди колокольчиков и ромашек... Как жарили на костре пшеничные колоски и ели...

Жара стояла такая, что железо лопалось на крышах дувалов. Поле загорелось сразу, взорвалось огнем. Оно пахло хлебом... Огонь поднимал вверх детский запах хлеба... И вот видишь: лежит огрызок человеческого тела, голова раз­метана на асфальте, как арбуз. Успела ли вылететь из него душа?

Там ночь не наступает, а падает на тебя. Вот был день, и уже – ночь. Вот ты был мальчик, и уже – мужчина. Это делает война. Там идет дождь, ты его видишь, но до земли он не доле­тает. Смотришь через спутник передачи о Союзе, удостоверяешься, что есть та, другая, жизнь, но в тебя она уже не прони­кает. Все это можно рассказать... Но что-то обидное для меня происходит... Не могу передать сути... В госпитале... Без­рукий, а у него на кровати сидит безногий и пишет письмо матери. Маленькая девочка... Она взяла у советского солдата конфету. Утром ей отрубили обе руки... Шел дождь... никаких размышлений – хорошо или плохо, что шел дождь... Все как было...

Возвращались мы с надеждой, что дома нас ждут с распростертыми объятиями. И вдруг – открытие – никому не интересно, что мы пережили. Во дворе стоят знакомые ребята: «А, прибыл? Хорошо, что прибыл». Пошел в школу, учителя тоже ни о чем не расспра­шивали. Наш разговор:

Я:

–Надо увековечить память тех, кто погиб, выполняя интернациональный долг.

Они:

–Это были двоечники, хулиганы. Как мы можем повесить на шко­ле мемориальную табличку в их честь?

Тут к войне свое отношение. Мол, что вы такого героического совершили? Проиграли войну? А кому она нужна была, эта война – Брежневу и военным генералам? Получилось, что мои друзья по­гибли зазря. И я мог погибнуть зазря. А моя мама увидела ме­ня из окна и бежала через всю улицу, кричала от радости. «Нет, – говорил я себе, – пусть свет перевернется, но это не перевернется: герои в земле лежат. Герои!» Меня до сих пор малярия бьет...

В институте старый преподаватель убеждал:

–Вы стали жертвой политической ошибки...

Вас сделали соучастниками преступления...

–Мне было тогда восемнадцать лет. А вам сколько? Когда у нас там шкура лопалась от жары – вы молчали.

Когда нас привозили в «черных тюльпанах» – вы молчали.

Играли на кладбищах военные оркестры.

Когда мы там убивали – вы молчали.

Теперь все разом заговорили: жертва... ошибка...

А я не хочу быть жертвой политической ошибки.

И я буду за это драться!

Пусть свет перевернется, но это не перевернется: герои в земле лежат...

СЦЕНА

МАТЕРИ

Вышла на балкон: стоят два офицера и врач. Зашли в подъезд. Смотрю в глазок – куда двинут­ся? Остановились на нашей площадке. Поворачива­ют вправо... К соседям?! У них тоже сын в армии, Звонок... Открываю дверь: «Что, сын погиб?» – «Мужайтесь, мать...»

А мне сразу: «Гроб, мать, у подъезда стоит. Где вам его поставить?» Мы на работу с мужем со­бирались... Яичница на плите жарилась... Чайник кипел...

Забрали, подстригли... И через пять месяцев гроб привезли...

И моего через пять...

Моего через девять...

Спрашиваю у того, кто сопровождал гроб: «Есть там что-нибудь?» – «Я видел, как его в гроб по­ложили. Он там». Смотрю на него, смотрю, он го­лову вниз опускает: «Что-то там есть...»

Если вертолет сгорел, то их по частям собирают. Руку найдут, ногу... По часам узнают... По носкам...

А у меня во дворе гроб час простоял. Сын два метра ростом, десантник. Привезли саркофаг – де­ревянный гроб и второй, цинковый... С ним в наших подъездах не развернешься... Семь мужчин еле подняли...

Моего восемнадцать дней везли... Их собирают це­лый самолет... Черный тюльпан... Сначала на Урал доставили... Потом в Ленинград... А после Минск.

Ни одной вещички не вернули. Ну пусть бы какая-нибудь память... Он курил, хотя бы зажигалка ос­талась...

А мне привезли его форму и двадцать три чека...

Мне щетку зубную и расчесочку его...

Хорошо, что не открывают гроб... Что мы не ви­дим, что сделали с нашими сыновьями... Он у меня всегда живой перед глазами... Целенький...

Ой, недобрая я стала. Ой, недобрая я теперь ста­ла. «Не обозлись, Соня. Ты только, Соня, не обо­злись», – умолял брат. А как мне доброй стать? По телевизору показывают ихний Кабул... А я бы взяла пулемет и всех стреляла... Сяду у телевизора и «стреляю»... Это они моего Сашу уби­ли... А потом раз показали старую женщину... Наверное, афганскую мать... Она прямо на меня смотрела... Я подумала: «А там же ее сын, может, его тоже убили». Вот после нее я перестала «ст­релять».

Может мне из детдома мальчика взять... Русенького, как Саша... Нет, мальчика боюсь... Лучше девочку... Мальчика заберут и убьют... Будем вдвоем Сашу ждать... Я не сумасшедшая, но я его жду... Рассказывают случай... Привезли матери гроб, она его похоронила... А через год он воз­вращается, живой, только раненный был... У мате­ри разрыв сердца... А я жду... Мертвым я его не видела... Не целовала... Жду...

ЛЕЙТЕНАНТ Каждую ночь видишь один и тот же сон, все прокручи­вается заново. Все стреляют, и ты стреляешь... Все бегут, и ты бежишь... Падаешь... Просыпаешься... На больничной койке... Рывком сбрасываешь себя с кровати, чтобы выйти в коридор покурить. И тут вспоминаешь: ног нет... Тут возвращаешься в действительность...

                        Я не хочу слышать о политической ошибке! Не хочу знать! Если это ошибка, тогда верните мне мои ноги...

Вы вынимали когда-нибудь из кармана убитого пись­ма: «Дорогая...», «Дорогие...», «Любимая...»? Вы видели солдата, простреленного одновременно кремниевой пищалью и китайским автоматом?..

Мы там были правильно, мы выполняли приказ. В армии ты сначала должен выполнить приказ, а потом можешь его обжаловать. Тебе сказали: вперед! Значит, вперед. А нет – партбилет отдай. Звание отдай. Присягу давал?! Давал. Поздно пить боржоми, когда почки отказали. «Мы вас не посылали туда».

– «А кто посылал?»

Там у меня был друг. Я уходил в бой, он со мной про­щался. Я приходил, он обнимал меня – живой! Такого друга у меня здесь не будет...

На улицу редко выхожу... Стесняюсь...

Вы когда-нибудь пристегивали наши протезы? На них ходишь и боишься шею сломать. Говорят, в других странах «протезники» на горных лыжах катаются, играют в теннис, танцуют. Купите их на валюту вместо французской косме­тики... Вместо кубинского сахара... Марокканских апельсин…

Мне двадцать два года, вся жизнь впереди. Надо жену ис­кать. Была девушка. Сказал ей: «Я тебя ненавижу», чтобы ушла. Жалела... Хочу, чтобы любила...

Снится мне ночами дом родной,

И в рябинах тихая опушка.

Тридцать, девяносто, сто...

Что-то ты расщедрилась, кукушка...

Из наших песен... Любимая... А иногда даже дня неохо­та жить...

Но даже сейчас мечтаю: хотя бы краешком глаза глянуть на тот кусочек земли... На тот кусочек библейской пустыни... Нас всех тянет туда... Как тянет, когда стоишь у пропасти, заглянуть в нее... Так тянет, что голова кру­жится... Война закончилась... Теперь постараются нас за­быть, запрятать куда-нибудь подальше... Так уже было в финскую... Сколько книг написано о Великой Отечест­венной и ничего о финской... Наш народ быстро прощает… И я через десять лет привыкну, мне будет наплевать...

Убивал ли я там? Убивал! А вы что хотели, чтобы мы там остались ангелами? Вы ждали – ангелы возвратятся...

СОН           Большое поле и по всему полю белые разрывы... Что-то вспыхнет... И тянутся длинные белые ленты... Саша мой бежит... бежит... Мечется... Негде ему спрятаться... И там вспыхнуло... И там... Я бегу за ним... Хочу его обогнать... Хочу, чтобы я впереди, а он за мной... Как ког­да-то в деревне попали мы в грозу... Я его прикрыла со­бой, оно подо мной тихонько скребется, как мышонок: «Мамочка, спаси меня!..»

Но я его не догнала... Он такой высокий, и шаги у него длинные-длинные... Бегу изо всех сил... Вот-вот сердце разорвется... А догнать его не могу...

СЛУЖАЩАЯ В декабре у меня намечалась свадьба, а в ноябре я уехала в Афганистан. Призналась жениху – рассмеялся: «Защищать южные рубежи нашей Родины?» А когда поверил, что не шучу: «Тебе что здесь спать не с кем?»

Ехала сюда, думала: «Не успела на БАМ, на целину, по­везло – что есть Афган!» Я поверила песням, которые при­возили ребята, целыми днями крутила:

На афганской земле

За прошедшие годы немало

Разбросала по скалам

Россия своих сыновей...

Была книжная московская девочка. Мне казалось, что настоящая жизнь где-то далеко. И там мужчины все – сильные, женщины – красивые. Много приключений. Хотелось вырваться из привычного...

Три ночи добиралась до Кабула, не спала. На таможне решили: нанюхалась. Помню, со слезами кому-то доказывала:

– Я – не наркоманка. Я спать хочу.

Тащу тяжелый чемодан – мамино варенье, печенье, и никто из мужчин не поможет. И это не просто мужчины, это молодые офицеры, красивые, сильные. А за мной всегда ухажи­вали мальчики, боготворили. Искренне удивилась:

–Помогите кто-нибудь!?

Они так на меня посмотрели...

Еще три ночи сидела на пересылке. В первый же день подошел прапорщик:

–Хочешь остаться в Кабуле, приходи ночью...

Толстенький, упитанный, по кличке, как потом девчонки шепну­ли, Баллон.

|  |
| --- |
|   |

Взяли меня в часть машинисткой. Работаем на старых армейских машинках. В первые же недели в кровь разбила паль­цы. Стучала в бинтах – ногти отделялись от пальцев. Через пару недель стучит ночью в комнату солдат:

–Командир зовет.

–Не пойду.

–Чего ломаешься? Не знала, куда ехала?

Утром командир пригрозил сослать в Кандагар.

Что такое Кандагар?

Мухи, духи и кошмар...

Боялась в эти дни попасть под машину... Выстрела в спину… По соседству в общежитии жили две девчонки: одна отвечала за электричество, прозвали ее Электричкой, другая занималась химводоочисткой – Хлорка. На все у них объясне­ние:

–Это жизнь...

Как раз в это время в «Правде» напечатали очерк «Афганские мадонны». Из Союза девочки писали: там он понра­вился, некоторые даже пошли в военкомат проситься в Афга­нистан. А мы не могли спокойно пройти мимо солдат, те ржа­ли: «Бочкаревки», вы, оказывается, героини... Выполняете ин­тернациональный долг в кровати...» Что такое «бочкаревки»? В бочках /такие вагончики/ живут большие звезды, не ниже майора. Женщин, с которыми они ... зовут «бочкаревками». Мальчишки, кто служит здесь, так и говорят: «Если я услышу что девчонка была в Афгане, для меня она исчезает.» Мы пережили те же болезни, у всех девчонок гепатит был, малярия...Нас также обстреливали...Но вот мы встретимся в Союзе, и я не смогу этому мальчишке броситься на шею. Мы все для них б... или чокнутые. Не спать с женщиной – не пачкаться... «А с кем я сплю? А сплю я с автоматом...» Могут в лицо тебя снять... Попробуй после этого кому-нибудь улыбнись...

Моя мама с гордостью объявляет знакомым: «Моя дочь в Афганистане». Наивная моя мама! Мне хочется написать ей: «Мама, молчи, а то услышишь – твоя дочь проститутка». Может, вернусь, все осмыслю – и отойду, потеплею. А сейчас внутри сломано, смято. Чему я здесь научилась? Разве тут можно научиться добру или милосердию? Или радости? Если я себя не остановлю, моему рассказу не будет конца. Тут каждый день случается что-то такое, что переворачи­вает тебя, твою душу. Вчера знакомый парень получил письмо из Союза, от своей девушки: «Я не хочу с тобой дружить, у тебя руки по локти в крови». Прибежал ко мне – я пойму.

О доме мы все думаем, но говорим мало. Из суеве­рия. Очень хочется вернуться. Куда мы вернемся? Об этом тоже молчим.

Дома я любила книжки о войне, здесь таскаю за собой Дюма. На войне не хочется видеть войну. Девочки ходили смотреть убитых... Говорили: лежат в носочках... Мозги, как мороженое, на боку... Не хочу смотреть... И не люблю выезжать в город. Так много на улицах одноногих мужчин скачет. Не каждый здесь может. Я, например, не могу. У меня была мечта стать журналистом, а теперь не знаю, мне теперь трудно во что-то верить.

Вернусь домой, никогда не поеду на юг. Не хватит сил видеть горы. Когда я вижу горы, мне кажется, что сейчас начнется обстрел. Однажды нас обстреливали, а девочка стоя­ла на коленях, плакала и молилась... Интересно, о чем она просила небо? Мы все здесь немножко скрытные, никто до конца не открывается. Каждый пережил какое-то разочарова­ние...

А я все время плачу и молюсь о той книжной москов­ской девочке, которой больше нет...

«Господа офицеры – голубые князья...»

патефон, граммофон, электрофон...

ЛЕЙТЕНАНТ Правду всю расскажет вам только отчаянный. Абсолютно отчаянный расскажет вам все. Кроме нас, многое никто не знает. Правда слишком страшная, правды не будет. Никто не захочет быть первым, никто не рискнет. Кто расскажет, как перевозили наркотики в гробах? Шубы... Вместо убитых... Кто вам покажет ниточку засушенных человеческих ушей? Их сушили... Боевые трофеи... Хранили в спичечных коробоч­ках... Они скручивались в маленькие листочки... Не может быть? Неловко слушать подобное о славных советских парнях? Выходит, может. Выходит, было. И это тоже правда, от которой никуда не деться, не замазать дешевой серебряной краской.

А вы думали: поставим памятники и все...

Я не ехал убивать, я был нормальный человек. Нам вну­шили, что воюют бандиты, а мы будем герои, нам все скажут спасибо. Хорошо запомнил плакаты: «Не опозорим чести соеди­нения», «Цвети, Родина Ленина», «Слава КПСС». А вернулся оттуда… Там же все время было маленькое зеркало... А тут большое… Глянул и не узнал себя... Не я, кто-то другой смотрел на меня... С новыми глазами, с новым лицом.

Это может быть самое непостижимое там – отношение к смерти. Вот опять если всю правду... Это невозможно... То, что здесь немыслимо, там буднично. Убивать страшно и неприятно. Но очень скоро начинаешь думать, что в упор уби­вать страшно и неприятно, а вместе, в массе – азартно, иног­да я видел, даже весело. В мирное время оружие стоит в пирамиде, каждая пирамида – на отдельном замке, оружейная ком­ната на звуковой сигнализации. А тут оружие постоянно при себе, к нему привыкаешь. Вечером с кровати стреляли из пи­столета в лампочку: лень встать, выключить свет. Одуревши в жару, разряжали автомат в воздух, хоть куда-нибудь... Окру­жаем караван, он сопротивляется, сечет из пулеметов... Приказ: караван расстрелять на уничтожение... Переходим на уничтожение... Над землей стоит дикий рев раненых верблю­дов...

За это что ли нам вручали ордена от благодарного афганс­кого народа?!

Война – это война, надо убивать. Нам что, боевое оружие вручили в «Зарницу» играть с братьями по классу? Трактора, сеялки там, что ли, ремонтировать? Нас убивали и мы убивали. Убивали, где могли. Убивали, где хотели. Но эта не та война, которую мы знали по книгам, фильмам: линия фронта, нейтральная полоса, передовая... Киризная война... Киризы – подземные ходы, переделанные когда-то для орошения… Люди возникают из них днем и ночью, как призраки... С ки­тайским автоматом, с ножом, а то и просто с камнем в руке. Не исключено, что недавно с этим призраком торговался в духане, а тут он уже за гранью твоего сочувствия. Только что он убил твоего друга, вместо друга лежит кусок мяса. Последние его слова: «Не пишите моей матери, заклинаю вас, чтобы она ничего не узнала...»

А ты, шурави, за гранью его, духа, сочувствия. Твоя артиллерия разметала его кишлак, и он ничего не нашел ни от матери, ни от жены, ни от детей. Современное оружие увеличивает наши преступления. Ножом я мог бы убить одного человека, двух... Бомбой – десятки... Но я – военный человек, моя профессия – убивать... Как там в сказке? Я – раб волшебной лампы Алладина... Так я – раб Министерства обороны... Куда прикажут, туда и буду стрелять... Мне скажут: стреляй! Я не буду думать... Я буду стрелять... Моя профессия – стрелять...

Но яне ехал туда убивать... Не хотел... Как это получилось? Почему афганский народ принял нас не за тех, кто мы были на самом деле?

Бочата стоят в резиновых калошах на босу ногу на морозе, и наши ребята отдают им свои сухпаи. Я это видел своими глазами. Подбегает к машине оборванный мальчишка, он ниче­го не просит, как остальные, он только смотрит. У меня было в кармане двадцать афгани, я их ему отдал. Он как стал на колени в песок, так и не встал, пока мы не сели в бэтээр, не отъехали. А рядом другое... У мальчишек-водоносов наши патрули отбирали деньги... Что там за деньги? Копейки. Нет, я туда даже туристом не хочу. Никогда не поеду. Я же вам сказал: правда слишком страшная, правды не будет. Она ни­кому не нужна. Ни вам, кто здесь был. Ни нам, кто там был. Вас было больше, вы молчали. А мы там были такими, какими вы нас здесь сделали. Дети наши вырастут и будут скрывать, что мы там были.

Я вспоминаю один. Выпью. Посижу. Люблю и песни аф­ганские послушать. Но один. Это было... Собираются вместе молодые... Они обозленные, потому что никому они здесь не нужны. Им трудно себя найти, обрести наново какие-то моральные ценности. Один мне признался: «Если бы я знал, что мне ничего не будет, мог бы человека убить. Просто так. Ни за что. Мне не жалко». Был Афганистан, теперь его нет. Не будешь всю жизнь молиться или каяться... Я жениться хочу... Сына хочу... Чем быстрее мы замолчим, тем лучше для всех. Кому эта правда нужна? Обывателю?! Чтобы он плюнул нам в душу: «Ах, сволочи, там убивали, гра­били, и здесь им льготы». И мы одни останемся виноватые. Все, что пережили, будет зря. Зачем-то же все это было? Зачем?

В Москве на вокзале пошел в туалет. Смотрю: туалет кооперативный. Сидит парень, рассчитывает. Над головой у него вывеска: «Для детей до семи лет, инвалидов и участни­ков Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов – вход бесплатный».

Я опешил:

–Это ты сам сообразил?

Он с гордостью:

–Да, сам. Предъяви документ и проходи.

–У меня отец всю войну прошел, и я два года чужой песок глотал, чтобы у вас помочиться бесплатно?

Такой ненависти, как к этому парню, у меня в Афгане ни к кому не было... Решил нам заплатить...

СОН           Как будто я сплю к вижу большое море людей. Все возле нашего дома. Я оглядываюсь, мне тес­но, но почему-то я не могу встать. Тут до меня доходит, что я лежу в гробу, гроб деревянный. Помню это хорошо. Но я живой, помню, что я жи­вой, но я лежу в гробу. Открываются ворота, все выходят на дорогу и меня выносят на доро­гу. Толпы народа, у всех на лицах горе и еще какой-то тайный восторг, мне непонятный. Что случилось? Почему я в гробу? Вдруг процессия остановилась, я услышал, как кто-то сказал:

– «Дайте молоток».

Тут меня пробила мысль – я вижу сон. Опять кто-то повторяет:

«Дайте молоток».

Оно как наяву и как во сне. И третий раз кто-то сказал: «Подайте молоток».

Я услышал, как хлопнула крышка, застучал молоток, один гвоздь попал мне в палец. Я начал бить головой в крышку, ногами. Раз – и крышка сор­валась, упала. Люди смотрят – я поднимаюсь, поднялся до пояса. Мне хочется закричать: больно, зачем вы меня заколачиваете гвоздями, мне там нечем дышать. Они плачут, но мне ничего не го­ворят. Все, как немые. И я не знаю, как мне за­говорить с ними так, чтобы они услышали. Мне кажется, что я кричу, а губы мои сжаты, не могу их раскрыть. Тогда я лег в гроб и лежу. Лежу и думаю: они хотят, чтобы я умер, может я действи­тельно умер, и надо молчать. Кто-то опять говорит:

 «Дайте мне молоток»...

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

«НЕ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВЫЗЫВАЮЩИМ МЕРТВЫХ,

И К ВОЛШЕБНИКАМ НЕ ХОДИТЕ…»

АВТОР                        «В начале сотворил Бог небо и землю...

И назвал Бог свет днем, а тьму ночью.

И был вечер, и было утро: день один.

И сказал Бог: да будет твердь посреди воды,

и да отделяет она воду от воды...

И назвал Бог твердь небом. И был вечер,

и было утро: день второй.

И сказал Бог: да соберется вода, которая под

небом, в одно место, и да явится суша. И стало так…

И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по

роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя

его по роду его...

И был вечер, и было утро: день третий».

Что ищу в священном писании? Вопросы или ответы? Какие во­просы и какие ответы? Он бы мог мне помочь, мой главный герой. С утра прислушиваюсь к телефонной трубке, но она молчит. И только к вечеру...

ГЛ.ГЕРОЙ      Все глупо было? Да? Так выходит? Понимаешь, что это для меня? Для нас? Я ехал туда нормальным советским парнем... Родина нас не предаст, Родина нас не обманет... Нельзя безумному запретить безумие его... Одни говорят – вышли из чистилища, другие – из помойной ямы... Чума на оба ваших дома! Я жить хочу! Я любить хочу! Уменя скоро родится сын... Я назову его Алешкой. Имя друга... Сдерну­тая кожа... Отдельно голова... Отдельно руки, ноги, член... Родится девочка, все равно будет Алешка...

Все глупо было? Да? Так выходит? Но мы же не стру­сили. Не обманули вас. Нельзя безумному запретить безумие. Больше не позвоню... Человек с глазами на затылке идти не может. Я все забыл... забыл... забыл...

Нельзя безумному запретить безумие его... Нет, я не застрелюсь... У меня будет сын... Алешка... Я жить хочу! Все!! Прощай!..

АВТОР           Он положил трубку, но я еще долго с ним разговариваю, спорю, что-то доказываю, в чем-то убеждаю. Слушаю.

«И был вечер, и было утро...»

СЦЕНА           ...Утром иду на работу. Я спускаюсь по лест­нице вниз, а они мне навстречу. Трое военных и женщина. Военные идут впереди, а фуражку каждый на левой руке несет. Откуда-то я знала, что это траур, когда офицерские фуражки на руках лежат. Я ТОГДА НЕ ВНИЗ, А ВВЕРХ ПОБЕЖАЛА. И они, видно, поняли, что это – мать. Они тоже наверх...

А Я ТОГДА – В ЛИФТ И ВНИЗ... МНЕ НАДО ВЫСКОЧИТЬ НА УЛИЦУ, УДРАТЬ... СПАСТИСЬ... НИЧЕГО НЕ УСЛЫ­ШАТЬ...

Пока я доехала до первого этажа, лифт останав­ливался, заходили люди, они уже там стоят и меня ждут. НАЖИМАЮ КНОПКУ И ВВЕРХ... На свой этаж... ВБЕГАЮ В КВАРТИРУ, НО ОТ УЖАСА ЗАБЫВАЮ ЗАХЛОПНУТЬ ДВЕРЬ... Слышу, как они входят... ПРЯЧУСЬ В СПАЛЬНЕ... Они за мной... Фуражки на руках лежат...

ПРАПОРЩИК Дочка пришла из школы и говорит:

–Мама, никто не верит, что ты была в Афганистане.

–Почему?

Удивляются;

–Кто твою маму туда посылал?

Я еще не привыкла к ощущению безопаснос­ти, наслаждаюсь им. Не привыкла, что не стреляют, не обстреливают, можно открыть кран и выпить стакан воды, и от нее хлоркой не несет. Там хлеб с хлоркой, макароны, мясо, компот с хлоркой. Не помню, как прожила два года дома. Как с дочкой встретились, помню, а остальное не задерживается в памя­ти, оно такое маленькое, незаметное, никчемное, по сравнению с тем, что пережито там. Ну, купили новый стол на кухню, телевизор... А что еще тут происхо­дило? Ничего. Дочка растет... Она в Афганистан пи­сала, командиру части: «Верните мне поскорее маму, я очень соскучилась...» Кроме дочери, мне ничего по­сле Афганистана не интересно.

Там реки сказочно голубые. Никогда не думала, что вода может быть такого небесного цвета. Красные маки растут, как у нас ромашки, костры маков вни­зу гор. Высокие непугающиеся верблюды спокойно смо­трят на все, как старики. На «противопехотке» взор­вался ослик, тянул на базар тележку с апельсинами. Апельсины летели осколками.

БУДЬ ТЫ ПРОКЛЯТ, АФГАНИСТАН!

Я не могу после него спокойно жить. Жить, как все. Приехала, соседки, подружки в гости часто просились:

–Валя, мы к тебе забежим на минутку. Расскажи, какая там посуда? Какие ковры? Правда, что шмоток валом и видео – видимо-невидимо? Что ты привезла? Может, что продашь?

Гробов оттуда привезли больше, чем магнитофонов. Про них забыли...

БУДЬ ТЫ ПРОКЛЯТ, АФГАНИСТАН!

Дочка растет. Комната у меня маленькая. Там обещали: вернетесь домой, вам за все отплатят. Обратилась в райисполком, взяли мои бумаги:

–Вы ранены?

–Нет, я целая вернулась. Сверху целая, а что внутри, не видно.

–Ну и живите, как все. Мы вас туда не посылали.

В очереди за сахаром:

–Оттуда всего навезли, и здесь права качают...

В другой раз:

–А, ограниченный контингент, – и на го­лову показывают.

Поставили сразу шесть гробов: майор Ященко, лейтенант и шесть солдат... Они лежат, обернутые в белые простыни... Голов не видно... Никогда не думала, что мужчины могут так кричать, рыдать... Фотографии у меня остались... На месте гибели ставили обелиски из крупных осколков бомб, выбивали фамилии на кам­нях. «Духи» сбрасывали их в пропасть. Расстреливали памятники, подрывали, чтобы никакого следа от нас не осталось...

БУДЬ ТЫ ПРОКЛЯТ, АФГАНИСТАН!

Дочка выросла без меня. Два года в школе-интернате. Я приехала, учительница жалуется: у нее тройки, она уже большая:

–Мама, что вы там делали?

Женщины там помогали мужчинам. Я знала женщину, которая сказала мужчине: «Ты будешь жить». И он жил. «Ты будешь ходить». И он ходил. Перед этим она забрала у него письмо, написанное жене: «Кому я нужен безногий?! Забудьте обо мне». Она сказала ему: «Пиши: Здравствуйте, дорогие жена и дорогие Аленка и Алешка...»

Как я уехала? Меня вызвал командир: «Надо!» Мы вос­питаны на этом слове, у нас привычка. На пересылке лежит на голом матрасе молодая девчонка и плачет:

–У меня дома все есть: четырехкомнатная квартира, жених, любящие родители.

–Зачем приехала?

–Сказали, что здесь трудно. Надо!

Я ничего оттуда не привезла, кроме памяти.

БУДЬ ТЫ ПРОКЛЯТ, АФГАНИСТАН!

Эта война никогда не кончится, наши дети будут вое­вать.

Дочка вчера опять спросила:

–Мама, никто не верит, что ты была в Афганистане...

РЯДОВОЙ      Не говорите при мне, что мы жертвы, что это была ошибка. Не произносите при мне этих слов. Я никому не разрешаю этого делать.

                        Мы воевали хорошо, храбро. За что вы нас так?

Я целовал на коленях знамя, я дал присягу. Мы так воспита­ны, что это свято, раз ты поцеловал знамя. Мы любим Родину, мы ей верим. Я люблю ее, несмотря ни на что. Я еще на этой войне, я еще не вернулся... Под окном «стрельнет» выхлопная труба – животный страх. Звон разбитого стекла – животный страх... В голове пусто-пусто... Звенящая пустота в голове… Звонок междугороднего телефона... Как автоматная очередь... Я не разрешу все это перечеркнуть. Я не могу топтать свои бессонные ночи, свои муки. Не могу забыть холодок по спине в пятидесятиградусную жару...

...Ехали на машинах и орали песни во всю глотку. Окликали, задирали девчонок, с грузовика они все красивые. Мы ехали весело. Попадались трусы:

–Я откажусь... Лучше тюрьма, чем война.

–На, получай! – их били. Над ними издевались. Они даже убегали из части.

Первый убитый. Его вытащили из люка. Он сказал: «Хочу жить...» И умер. Как невыносимо после боя смотреть на красоту. На горы, на сиреневое по утрам ущелье. Хочется все расстрелять! Или тихий-тихий становишься, ласковый. Другой парень умирал долго. Лежал и, как ребенок, который только-только научился говорить, называл и повторял все, что встречал глазами: «Го­ры... Дерево... Птица... Небо...» Так до самого конца. Молодой царандой, это у них милиционер:

–Я умру, аллах заберет меня на небо. А ты куда попадешь?

Куда я попаду!?

Попал в госпиталь. Приехал ко мне в Ташкент отец:

–После ранения ты можешь остаться в Союзе.

–Как я останусь, если мои друзья там?

Онкоммунист, но ходил в церковь, ставил свечку.

–Зачем ты это делаешь, отец?

–Мне надо вложить во что-то свою веру. Кого мне еще просить, чтобы ты вернулся?

Рядом лежал парень. К нему приехала мать из Душанбе, привезла фрукты, коньяк:

–Хочу сына дома оставить. Кого просить?

–Давай, мать, лучше выпьем твой коньяк за наше здоровье.

–Хочу сына дома оставить...

Выпили мы ее коньяк. Целый ящик. В последний день услышали: у одного из наших в палате обнаружили язву желудка, кладут в медсанбат. Шкура! Мы его лицо стерли для себя из памяти.

Встретил бы сейчас, не узнал.

Для меня – или черное, или белое... Серого нет... Никаких полуто­нов...

Нам не верилось, что где-то целый день дождь, «грибной» дождь. Наши архангельские комары над водой гудят. Выжженные шершавые горы... Поджаренный колючий песок... И на нем, как на большой простыне, наши окровавленные солдаты лежат... У них отре­зано все мужское... Записка: ваши женщины никогда не родят от них сыновей...

А вы говорите – забыть!?

Возвращались: кто с магнитофоном «Сони», «Шарп», чиркали музыкаль­ными зажигалками, а кто в стираном-перестираном хэбэ и с пус­тым дипломатом.

Почему нет книг? Нет стихов? Нет песен об Афгане, которые бы все пели? Мы воевали хорошо, храбро. Нас награждали ордена­ми...

Говорят, что нас, «афганцев», и без орденов узнают, по глазам:

–Парень, ты из Афгана?

А я иду в советском пальто, в советских ботинках...

СЦЕНА

Мирозданье.

Сашка, мне стыдно за то, что на выпускном экзамене по научному коммунизму я получил «пятерку» за кри­тику буржуазного плюрализма... Мне стыдно, что после того, как съезд народных депутатов сказал, что эта война – наш позор, нам вручили значки «Вои­нов-интернационалистов» и Грамоты Верховного Сове­та СССР. Сашка, ты там, а я здесь…

Юрочка, жизнь совсем не такая, как я тебя учила. И если я узнаю, что ты в Афганистане, выйду на площадь, на лобное место... Оболью себя бензином и сожгу. Тебя убьют там не за Родину... Тебя убьют неизвестно за что... Разве может Родина посылать на гибель своих лучших сыновей без великой идеи?

Что же это за Родина?..

Валера, я весь в крови... Вот этими руками я уби­вал... Из боев не вылазил... Я весь в крови... Ва­лера, я теперь не знаю, что лучше было – погибнуть или жить? Я теперь не знаю...

Дайте мне муки самые печальные, самые страшные, пусть только доходят до него мои молитвы, моя любовь.

Я встречаю на его могилке каждый цветок, каждый корешок, стебелек:

«Ты оттуда? Ты от него?.. Ты от сына моего...»

МАМА МОЕТ СЫНА.